

В.Ф. Ходасевич

НИ СНЫ, НИ ЯВЬ

(Памяти Блока)

Это было 1 марта 1921 года, в Петербурге. Я шел по Театральной улице в Малый театр, на вечер Блока. По советскому времени было почти уже восемь, по-настоящему пять. Я не спешил, потому что люблю на улице это время дня и потому еще, что в душе был не прочь опоздать: в первом отделении предстоял доклад Корнея Чуковского о творчестве Блока. Было светло и пустынно. В Чернышевском сквере я услышал за собой торопливые легонькие шаги и тотчас ж — торопливый, но слабый голос:

— Скорее, скорее, а то опоздаете!

Это была мать Блока. Мы пошли вместе. Маленькая, сухая, с горячим румянцем на морщинистых щечках, она чуть не бежала рядом со мной и, почти задыхаясь, говорила без умолку: о том, что волнуется за Сашу, что боится, как бы Чуковский не наговорил пошлостей, и что мы вот-вот опоздаем. Потом — что я непременно, непременно должен зайти за кулисы к Саше, что у Саши побаливает нога, но главное, главное — как бы нам только не опоздать! Наконец мы пришли. Случайно места наши оказались рядом, но она, повертевшись, поволновавшись, вскочила и убежала, — должно быть, на сцену. Я больше ее не видел.

Никаких особенных пошлостей Чуковский не наговорил. О Блоке сказал он даже много верного, но так ловко, хлестко и смачно, что слушать его было неприятно. Блок вышел во втором отделении, после антракта. На нем был темно-серый, а может быть, черный пиджак в полоску. Спокойный и бледный, остановился посреди сцены и тотчас начал читать. То одну, то другую руку он прятал в карманы брюк. Он прочитал немного, всего лишь несколько стихотворений — с проникновенной простотой и глубокой серьезностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина — «с важностью». Он произносил слова очень медленно, связывая их едва уловимым напевом, внятным, быть может, только тому, кто умеет улавливать внутренний ход стиха. Читал отчетливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему аплодировали, он не выказывал ни благодарности, ни притворного невнимания, ни смущения. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины.

Последним прочел он «Перед судом» — одно из самых безнадежных своих стихотворений:

Что же ты потупилась в смущеньи?
Посмотри, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала — в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой — не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной...

То и дело ему кричали: «Двенадцать», «Двенадцать», но он, казалось, не слышал этого. Только глядел все угрюмее, сжимал зубы все крепче. И хотя он читал прекрасно (лучшего чтения я никогда не слышал), — все приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации, и что это притворство ему мучительно. Публика требовала, чтобы он явился пред ней прежним Блоком, каким она его знала или воображала, — и он, как актер, играл перед ней того Блока, которого уже не было. Скажу откровенно: возможно, что с такой ясностью я увидел все это в его лице не тогда, а лишь после, по воспоминанию, когда смерть

закончила и объяснила последнюю главу его жизни. Но ясно и твердо помню, что страдание и отчужденность наполняли в тот вечер все его существо. Это было так очевидно и так разительно, что, когда задернулся занавес и утихли последние аплодисменты и крики, мне показалось неловко и грубо идти за кулисы. У меня к нему было дело довольно важное для меня — я все-таки не пошел.

Тотчас после этого вечера он уехал в Москву, по приезде слег и уже не вставал до 7 августа — до самой смерти. Это, впрочем, общеизвестно. Общеизвестны и рассказы о его пребывании в Москве. Но о тех месяцах, что провел он в болезни, знаем мы очень мало — почти ничего. Он в это время писал — но что? Известно только, что не стихи: последние стихи («В альбом Пушкинскому Дому») написаны 5 февраля. Так что же? Ответа нет, и мы вряд ли скоро его получим; рукописное наследие Блока охраняется тщательно. По абсолютно точным сведениям, которые у меня имеются, кое-что было даже и уничтожено. В нашем распоряжении только шесть отрывков под общим заглавием «Ни сны, ни явь». Они помечены 19 марта, и хотя изданы — публика их почти не знает. Их содержание очень туманно и для понимания, хотя бы приблизительного, потребовало бы сложного анализа. Только последняя запись его почти не требует. Приведу ее целиком.

«— По вечерам я всегда обхожу сад. У заднего забора есть такое место между рябиной и боярышником, где днем особенно греет солнце. Но по вечерам я уже несколько раз видел на этом месте...

— Что?

— Там копается в земле какой-то человек, стоя на коленях, спиной ко мне. Покопавшись, он складывает руки рупором и говорит глухим голосом в открытую яму: “Эй, вы, торопитесь”.

— Так что же?

— Дальше я уж не смотрю и не слушаю: так невыносимо страшно, что я бегу без оглядки, зажимая уши.

— Да ведь это — садовник.

— Раз ему даже ответили; многие голоса сказали из ямы: “Всегда поспеет”. Тогда он встал не торопясь и, не оборачиваясь ко мне, уполз за угол.

— Что же тут необыкновенного? Садовник говорил с рабочими. Тебе все мерещится.

— Эх, не знаете вы, не знаете».

Общий смысл этого диалога совершенно ясен: дело идет о предчувствии. Можно бы даже *доказать*, что о предчувствии смерти, но и это, кажется, само собой ясно. Однако дело не в смерти. Конечно, довольно многозначительно, что мысль о ней занимала Блока в те дни. Конечно, весьма любопытно было бы сопоставить эту запись со стихотворением «Черти говорят». Но и там и тут совпадение могло быть более или менее случайно. Более примечательна сама ситуация диалога. Его «герой» передает нечто, о чем сам не знает, сон это или явь. Собеседник уверяет его в реальности происшествия, которому и дает самое простое объяснение, в ответ на что «герой», не возражая против такого объяснения, все-таки говорит: «Эх, не знаете вы, не знаете». Иными словами, о самой реальности он считает необходимым знать еще что-то, чего не знает, кроме него, никто, то есть видеть ее второе, предчувственное или пророческое значение.

Эта склонность к пророческому истолкованию действительности была свойственна многим символистам. Потому так часты у них мотивы подслушивания, подсматривания: и тем и другим знаменуется попытка проникнуть в незримый, второй смысл действительности, которую рассматривали они как пророческий сон. Она была для них полна предвестий. «Вынюхиванию из воздуха» придавали они большое значение, и если эта способность порой заводила их в дебри, то все же надо признать, что нередко им удавалось и впрямь нечто «вынюхать».

Я вышел в ночь — узнать, понять
Далекий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот.

Так начиналось одно из ранних стихотворений Блока. По своей медиумичности он стоял среди символистов, быть может, на первом месте. У него был тончайший слух — он умел улавливать отдаленный звук того, чему предстоит свершиться. Отчасти в этом и коренится властный, но смутный магизм его поэзии.

Еще в промежуток между 1907 и 1913 годами Блок написал цикл статей: «Религиозные искания и народ», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура», «Ирония», «Дитя Гоголя», «Пламень», «Интеллигенция и революция». Они замечательны тем, что в них Блок не просто предсказывает будущую революцию, но говорит о ней как о событии уже происходящем, звук которого ему уже внятен: «Гоголь и другие русские писатели любили представлять себе Россию как воплощение тишины и сна; но этот сон кончается; тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, непохожим на смешанный городской гул... Тот же Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой... Тот гул, который возрастает так быстро... и есть “чудный звон” колокольчика тройки... Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке на верную гибель».

«Отдаленный гул», о котором здесь говорится, должно, разумеется, отнести к категории снов, постепенно становящихся явью. Но Блок последователен: эту явь он, в свою очередь, как нечто уже являющееся сном по отношению к тому, чему предстоит совершиться в более отдаленном будущем, может «уже представить себе, как бывает в страшных снах и кошмарах, что тьма происходит оттого, что над нами повисла косматая грудь коренника и готовы опуститься тяжелые копыта». Таким образом, прошлое для Блока есть сон о настоящем, но само настоящее — сон о будущем. Явь каждой предшествующей минуты — есть сон о последующей. Мы живем во сне и в действительности одновременно.

* * *

Он задолго предсказал характер революции, страшный, октябрьский, а не идиллический, февральский. Но его мысли о революции были неразрывно связаны с мыслями о желанном конце ложной гуманистической цивилизации, в которую выродилась былая гуманистическая культура. В разрушительной, жестокой и даже безобразной революции он видел преддверие созидательного, творческого, музыкального периода истории. Поэма «Двенадцать» родилась из одного стиха о гулящей Катьке, которая

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла.

Эта Катька вместе с двенадцатью красноармейцами, понабравшимися из лиговских хулиганов, будущих чубаровцев, для него символизировала сегодняшнюю революцию. Но он не кощунствовал, внезапно заканчивая поэму образом Христа, *невидимого за вьюгой*, ведущего этих двенадцать: он верил в конечную чистоту революции, в ее высокое призвание.

Никогда он не ставил знака равенства между революцией и большевизмом. В том и была его трагедия, что этот знак был поставлен действительностью — вопреки его чаяниям. Трагедия развивалась именно по мере того, как большевизм овладевал революцией — ронял и осквернял ее. Судьба России и судьба революции оказались не те, в какие он верил. Оказалось, что «нараставший гул» нес с собою не то, что в нем чудилось Блоку.

Пророческие сны не обманули Блока в том смысле, что они оказались действительно пророческими. Но оказалось, что он умел их видеть, умел о них рассказывать — и не умел

толковать. Блок был плохим историком — и потому плохим предсказателем. Он снов не поверил историей, предчувствий — рассудком, гармонии — алгеброй. Но этого мало: вместо того чтобы понять первую свою ошибку, он совершил еще и другую: усомнился в своем тайнослышании. Усомниться в чудесном даре — значит его утратить. В 1920 году Блок жаловался Чуковскому, что он «оглох», с некоторых пор ничего больше не слышит и потому ему больше не о чем писать стихи. Думаю, что глухота поразила его еще в 1919 году: во-первых, приблизительно в то время должна была ему окончательно уясниться его политическая ошибка; во-вторых, как видно из предисловия к «Возмездию», именно в июле 1919 года Блок пришел к убеждению, что ему едва ли удастся окончить эту поэму, над которой работал он восемь лет. Тогда же почти прекратилась над нею работа и он вообще перестал писать стихи — только три альбомных стихотворения им были с тех пор написаны. Таким образом, наступление «глухоты» можно датировать прекращением работы над «Возмездием».

Кажется, в Блоке все же осуществился идеал символизма: соединение поэта и человека. Можно сказать (и это будут не просто «слова»), что поэзией было пронизано все физическое существо его. С концом поэта должно было кончиться и оно. Оно два года сопротивлялось, но сопротивление ослабевало. Тот Блок, которого мы видели и слышали в Малом театре, был уже почти мертв. Мертвый Блок играл живого Блока. С ним случилось то самое, о чем он писал когда-то:

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!

Как ему было тяжело — об этом лучше и не гадать, потому что здесь «тайны гроба», пред которыми лучше остановиться.

К больному Блоку никого не пускали задолго до смерти. 3-го августа 1921 года одна общая наша приятельница прибежала ко мне из его дома и сказала, что началась агония. Потеря Блока была для нее большой личной потерей. Я стал, как водится, утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

— Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!

<1931>